

Александр Куприн

Черная молния



Александр Иванович Куприн

Черная молния

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2524995

Аннотация

«Я теперь не сумею даже припомнить, какое дело или какой каприз судьбы забросили меня на целую зиму в этот маленький северный русский городишко, о котором учебники географии говорят кратко: „уездный город такой-то“, не приводя о нем никаких дальнейших сведений. Очень недавно провели близ него железную дорогу из Петербурга на Архангельск, но это событие совсем не отразилось на жизни города. Со станции в город можно добраться только глубокой зимою, когда замерзают непролазные болота, да и то приходится ехать девяносто верст среди ухабов и метелей, слыша нередко дикий волчий вой и по часам не видя признака человеческого жилья. А главное, из города нечего везти в столицу, и некому и незачем туда ехать...»

Александр Иванович Куприн Черная молния

Я теперь не сумею даже припомнить, какое дело или какой каприз судьбы забросили меня на целую зиму в этот маленький северный русский городишко, о котором учебники географии говорят кратко: «уездный город такой-то», не приводя о нем никаких дальнейших сведений. Очень недавно провели близ него железную дорогу из Петербурга на Архангельск, но это событие совсем не отразилось на жизни города. Со станции в город можно добраться только глубокой зимой, когда замерзают непролазные болота, да и то приходится ехать девяносто верст среди ухабов и метелей, слыша нередко дикий волчий вой и по часам не видя признака человеческого жилья. А главное, из города нечего везти в столицу, и некому и незачем туда ехать.

Так и живет городишко в сонном безмолвии, в мирной неизвестности без ввоза и вывоза, без добывающей и обрабатывающей промышленности, без памятников знаменитым согражданам, со своими шестнадцатью церквями на пять тысяч населения, с доща-

тыми тротуарами, со свиньями, коровами и курами на улице, с неизбежным пыльным бульваром на берегу извилистой несудоходной и безрыбной речонки Ворожи, – живет зимою заваленный снежными сугробами, летом утопающий в грязи, весь окруженный болотистым, корявым и низкорослым лесом.

Ничего здесь нет для ума и для сердца: ни гимназии, ни библиотеки, ни театра, ни живых картин, ни концертов, ни лекций с волшебным фонарем. Самые плохие бродячие цирки и масленичные балаганы обегают этот город, и даже невзыскательный петрушка проходил через него последний раз шесть лет тому назад, о чем до сих пор жители вспоминают с умилением.

Раз в неделю, по субботам, бывает в городке базар. Съезжаются из окрестных диких деревнюшек полтора десятка мужиков с картофелем, сеном и дровами, но и они, кажется, ничего не продают и не покупают, а торчат весь день около казенки, похлопывая себя по плечам руками, одетыми в кожаные желтые рукавицы об одном пальце. А возвращаясь пьяные ночью домой, часто замерзают по дороге, к немалой прибыли городского врача.

Здесьние мещане – народ богобоязненный, суровый и подозрительный. Чем они занимаются и чем живут – уму непостижимо. Летом еще кое-кто из них ко-

пошится около реки, сгоняя лес плотами вниз по течению, но зимнее их существование таинственно. Встают они поздно, позднее солнца, и целый день глазуют из окон на улицу, отпечатывая на стеклах белыми пятнами сплющенные носы и разляпанные губы. Обедают, по-православному, в полдень, и после обеда спят. А в семь часов вечера уже все ворота заперты на тяжелые железные засовы, и каждый хозяин собственноручно спускает с цепи старого, злого, лохматого и седомордого, осиплого от лая кобеля. И храпят до утра в жарких, грязных перинах, среди гор подушек, под мирным сиянием цветных лампадок. И дико орут во сне от страшных кошмаров и, проснувшись, долго чешутся и чавкают, творя нарочитую молитву против домового.

Про самих себя обыватели говорят так: в нашем городе дома каменные, а сердца железные. Старожилы же из грамотных не без гордости уверяют, что именно с их города Николай Васильевич Гоголь списал своего «Ревизора». «Покойный папашка Прохор Сергеича самолично видел Николая Васильевича, когда они проезжали через город». Здесь все зовут и знают людей только по именам и отчествам. Если скажешь извозчику: «К Чурбанову (местный Мюр-Мерилиз), гривенник», – он сразу остолбенеет и, точно внезапно проснувшись, спросит: «Чего?» – «К Чурбанову, в лав-

ку, гривенник». – «А-а! К Порфир Алексеичу. Пожалуйте, купец, садитесь».

Здесь есть городские ряды – длинный деревянный сарай на Соборной площади, со множеством неосвещенных, грязных клетушек, похожих на темные норы, из которых всегда пахнет крысами, кумачом, дублеными овчинами, керосином и душистым перцем. В огромных волчьих шубах и прямых теплых картузах, седобородые, тучные и важные, сидят лавочники, все эти жестокие Модесты Никанорычи и Доремидонты Никифоруычи, снаружи своих лавок, на крылечках, тянут из блюдечка жидкий чай и играют в шашки, в поддавки. На случайного покупателя они глядят как на заклятого врага: «Эй, мальчик, отпусти этому». Покупку ему не подают, а швыряют на прилавок, не завернувши, и каждую серебряную, золотую или бумажную монету так долго пробуют на ощупь, на свет, на звон и даже на зуб и притом так пронзительно и ехидно на тебя смотрят, что невольно думаешь: «А ведь сейчас позовет, подлец, полицию».

Зимой, по праздникам, после обеда, этак ближе к вечеру, на главной Дворянской улице происходит купеческое катанье. Вереницей, один за другим, плывут серые в яблоках огромные пряничные жеребцы, сотрясаясь ожирелыми мясами, екая на всю улицу селезенками и громко гогоча. А в маленьких санках сидят

торжественно, как буддийские изваяния, в праздничных шубах купец и купчиха – такие объемистые, что их зады наполовину свешиваются с сиденья и по левую и по правую сторону. Иногда же, нарушая это чинное движение, вдруг пронесется галопом по улице, свисти и гикая, купеческий сын Ноздрунов, в нарядной кучерской поддевке, с боярской шапкой набекрень, краса купеческой молодежи, победитель девичьих сердец.

Живет здесь малая кучка интеллигентов, но все они вскоре по прибытии в город поразительно быстро опускаются, много пьют, играют в карты, не отходя от тола по двое суток, сплетничают, живут с чужими женами и с горничными, ничего не читают и ничем не интересуются. Почта из Петербурга приходит иногда через семь дней, иногда через двадцать, а иногда и совсем не приходит, потому что везут ее длинным кружным путем, сначала на юг, на Москву, потом на восток, на Рыбинск, на пароходе, а зимою на лошадях и, наконец, тащат ее опять на север, двести верст по лесам, болотам, косогорам и дырявым мостам, пьяные, сонные, голодные, оборванные мерзлые ямщики.

В городе получают в складчину несколько газет: «Новое время», «Свет», «Петербургская газета» и одни «Биржевые ведомости», или, как здесь их зовут, «Биржевик». Раньше и «Биржевик» выписывался в двух экземплярах, но однажды начальник городского

училища очень резко заявил учителю географии и историку Кипайтулову, что «одно из двух – либо служить во вверенном мне училище, либо предаваться чтению революционных газет где-нибудь в другом месте»...

Вот в этом-то городке, в конце января, непогожим метелистым вечером я сидел за письменным столом в гостинице «Орел», или по-тамошнему «Тараканья щель», где я был единственным постояльцем. Из окон дуло, в ночной трубе завывал то басом, то визгливым сопрано разгулявшийся ветер. Унылым колеблющимся пламенем светила тоненькая, оплывшая с одного бока свеча. Я сумрачно глядел на огонь, а с бревенчатых стен меня созерцали, важно шевеля усищами, рыжие, серьезные, неподвижные тараканы. Окаянная, мертвая, зеленая скука обволокла паутиной мой мозг и парализовала тело. Что было делать до ночи? Книг со мною не было, а те номера газет, в которые были завернуты мои вещи и дорожная провизия, я прочитал столько раз, что заучил их наизусть.

И я грустно размышлял, как мне поступить: пойти ли в клуб, или послать к кому-нибудь из моих случайных знакомых за книжкой, хотя бы за специально медицинской к городскому врачу, или за уставом о наложении наказаний к мировому судье, или к лесничему за руководством по дендрологии.

Но кто же не знает этих захолустных городских клу-

бов, или иначе гражданских собраний? Обшарпанные обои, висящие лохмотьями; зеркала и олеографии, засиженные мухами, заплеванной пол; по всем комнатам запах кислого теста, сырости нежилого дома и карболки из клозета. В зале два стола заняты преферансом, и тут же рядом, на маленьких столиках, водка и закуска, так, чтобы удобно было, держа одной рукой карты, другой потянуться в миску за огурцом. Игроки держат карты под столом или в горсточке, прикрывая их обеими ладонями, но и это не помогает, потому что ежеминутно раздаются возгласы: «Прошу вас, Сысой Петрович, вы уж, пожалуйста, глазнапа не запускайте-с».

В бильярдной письмоводитель земского начальника играет в пирамидку с маркером огромными, иззубренными временем, гроыхающими на ходу шарами, дует со своим партнером водку и сыплет специальными бильярдными поговорками. В передней, под лампой с граненым рефлектором, сидя на стуле, сложив руки на животе и широко разинув рот, сладко храпит служащий мальчик. В буфете упиваются кавказским коньяком два акцизных надзирателя, ветеринар, помощник пристава и агроном, пьют на «ты», обнимаются, целуются мокрыми мохнатыми ртами, поливая друг другу шеи и сюртуки вином, поют вразброд «Не осенний мелкий дождичек» и при этом каждый ди-

рижирует, а к одиннадцати часам двое из них непременно подерутся и натаскают друг у друга из головы кучу волос.

«Нет, – решил я, – пошлю лучше к городскому врачу за книжкой».

Но как раз в эту минуту в номер вошел босой коридорный мальчуган Федька с запиской от самого доктора, который в дружески веселом духе просил меня к себе на вечерок, то есть на чашку чая и на маленький домашний винтишко, уверяя, что будут только свои, что у них вообще все попросту, без церемоний, что регалий, лент и фраков можно не надевать и, наконец, что супругой доктора получена от мамы из Белозерска замечательных достоинств семга, из которой и будет сооружен пирог. «Sic! – восклицал шутник доктор в приписке, – и теща на что-нибудь полезна!»

Я быстро умылся, переоделся и пошел к милейшему Петру Власовичу. Теперь уже не ветер, а свирепый ураган носился со страшной силой по улицам, гоня перед собой тучи снежной крупы, больно хлеставшей в лицо и слепившей глаза. Я человек, как и большинство современных людей, почти неверующий, но мне много пришлось изъездить по проселочным зимним путям, и потому в такие вечера и в такую погоду я мысленно молюсь: «Господи, спаси и сохрани того, кто теперь потерял дорогу и кружится в поле или в ле-

су со смертельным страхом в душе».

Вечер у доктора был именно такой, какими бывают эти семейные вечерки повсюду в провинциальной России, от Обдорска до Крыжополя и от Лодейного поля до Темрюка. Сначала поили тепленьким чаем с домашним печеньем, с вонючим ромом и малиновым вареньем, мелкие косточки от которого так назойливо вязнут в зубах. Дамы сидели на одном конце стола и с фальшивым оживлением, кокетливо выпевая концы фраз в нос, говорили о дороговизне съестных припасов и дров, о развращенности прислуги, о платьях и вышивках, о способах солки огурцов и шинкования капусты. Когда они прихлебывали чай из своих чашек, то каждая непременно самым противоестественным образом оттопыривала в сторону мизинец правой руки, что, как известно, считается признаком светского тона и грациозной изнеженности.

Мужчины сгрудились на другом конце. Здесь разговор шел о службе, о суровом и непочтительном к дворянству губернаторе, о политике, главным же образом пересказывали друг другу содержание сегодняшних газет, всеми ими уже прочитанных. И смешно и трогательно было слушать, как они проникновенно и прозорливо толковали о событиях, происходивших месяц-полтора тому назад, и горячились по поводу новостей, давно уже забытых всеми на свете. Право, выхо-

дило так, точно все мы живем не на земле, а на Марсе ли на Венере, или на другой какой-нибудь планете, куда видимые земные дела достигают через огромные промежутки времени в целые недели, месяцы и годы.

Затем, по заведенному издревле обычаю, хозяин сказал:

– А знаете ли что, господа? Оставим-ка этот лабиринт и сядем в винт. Алексей Николаевич, Евгений Евгеньевич, не угодно ли карточку?

И тотчас же кто-то отозвался фразой тысячелетней давности:

– В самом деле, зачем терять драгоценное время? Неиграющих оказалось только трое: лесничий Иван Иванович Гурченко, я и старая толстая дама, очень почтенного и добродушного вида, но совершенно глухая, – мамаша земского начальника. Хозяин долго уговаривал Неиграющих оказалось только трое: лесничий Иван Иванович Гурченко, я и старая толстая дама, очень почтенного и добродушного вида, но совершенно глухая, – мамаша земского начальника. Хозяин долго уговаривал нас устроиться выходящими и, наконец, с видом лицемерного соболезнования, решил оставить нас в покое. Правда, он несколько раз, в те минуты, когда была не его очередь сдавать, торопливо забежал к нам и, потирая руки, спрашивал: «Ну, что? Как вы здесь? Не очень соску-

чилишь? Может быть, вам прислать сюда винца или пива?.. Нехорошо. Кто не пьет, не играет и не курит, – тот подозрительный элемент в обществе. А что же вы вашу даму не занимаете?»

Мы пробовали ее занимать. Заговорили сначала о погоде и о санном пути. Толстая дама кротко улыбнулась нам и ответила, что, правда, она, когда была помоложе, то играла в мушку, или, по-нынешнему, рамс, но теперь забыла и даже в фигурах плохо разбирается. Потом я проревел ей над ухом что-то о здоровье ее внучат, она ласково закивала головой и сказала участливо: «Да, да, да, бывает, бывает, у меня у самой к дождю поясницу ломит», – и достала из мешочка какое-то вязанье. Мы не рискнули больше приставать к доброй старушке.

У доктора был прекрасный, огромный диван, обитый нежной желтой кожей, в котором так удобно было развалиться. Мы с Турченко никогда не скучали, оставаясь вместе. Нас тесно связывали три вещи: лес, охота и любовь к литературе. Мне уже приходилось бывать с ним раз пятнадцать на медвежьих, лисьих и волчьих облавах и на охотах с гончими. Он был прекрасным стрелком и однажды при мне свалил рысь с верхушки дерева выстрелом из штуцера на расстоянии более трехсот шагов. Но охотился он только на зверя, да еще на зайцев, на которых даже ставил кап-

каны, потому что от души ненавидел этих вредителей молодых лесных насаждений. Затаенной и, конечно, недостижимой его мечтой была охота на тигра. Он собрал даже целую библиотеку об этом благородном спорте. На птицу он никогда не охотился и сурово запретил у себя в лесу всякую весеннюю охоту. «Мне в моем хозяйстве птица – первый помощник», – говорил он серьезно. За такую чрезмерную строгость его недолюбливали.

Это был крепкий, маленький, смуглолицый желчный холостяк, с горячими и насмешливыми черными глазами, с сильной проседью в черных растрепанных волосах. Он был совсем одинок, настоящий бобыль, растерявший давно всех родственников и друзей детства, и в нем до сих пор еще сохранилось очень много тех безалаберных и прекрасных, грубых и товарищеских качеств, по которым так нетрудно узнать бывшего студента лесного, ныне упраздненного, факультета знаменитой когда-то Петровской академии, что процветала в сельце Петровско-Разумовском под Москвой.

Он очень редко показывался в уездном свете, потому что три четверти жизни проводил в лесу. Лес был его настоящей семьей и, кажется, единственной страстной привязанностью к жизни. В городе над ним за Он очень редко показывался в уездном свете, по-

тому что три четверти жизни проводил в лесу. Лес был его настоящею семьею и, кажется, единственной страстной привязанностью к жизни. В городе над ним за глаза посмеивались и считали чудаком. Имея полную и бесконтрольную возможность подторговывать в свою пользу лесными деланками, отводимыми на сруб, он жил только на свое полторастарублевое жалованье, жалованье – поистине нищенское, если принять во внимание ту культурную, ответственную и глубоко важную работу, которую самоотверженно нес на своих плечах целые двадцать лет этот удивительный Иван Иванович. Право, только среди чинов лесного корпуса, в этом распрозабытом из всех забытых ведомств, да еще среди земских врачей, загнанных, как почтовые клячи, не и приходилось встречать этих чудаков, фанатиков дела и бессребреников.

Много лет тому назад Турченко подал в военное министерство докладную записку о том, что в случае оборонительной войны лесники благодаря прекрасному знанию местности могут очень пригодиться армии как разведчики и как проводники партизанских отрядов, и потому предложил комплектовать местную стражу из людей, окончивших специальные шестимесячные курсы. Ему, конечно, как водится, ничего не ответили. Тогда он, на собственный риск и на совесть, обучил практически всех своих лесников компасной

и глазомерной съемке, разведочной службе, устройству засек и волчьих ям, системе военных донесений, сигнализации флажками и огнем и многим другим основам партизанской войны. Ежегодно он устраивал подчиненным состязания в стрельбе и выдавал призы из своего скудного кармана. На службе он завел дисциплину, более суровую, чем морская, хотя в то же время был кумом и посаженным отцом у всех лесников.

Под его надзором и охраной было двадцать семь тысяч десятин казенного леса, да еще, по просьбе миллионеров братьев Солодаевых, он присматривал за их громадными, прекрасно сохраненными лесами в южной части уезда. Но и этого ему было мало: он самовольно взял под свое покровительство и все окрестные, смежные и чересполосные крестьянские леса. Совершая для крестьян за гроши, а чаще безвозмездно разные межевые работы и лесообходные съемки, он собирал сходы, говорил горячо и просто о великом значении в сельском хозяйстве больших лесных площадей и заклинал крестьян беречь лес пуще глаза. Мужики его слушали внимательно, сочувственно кивали бородами, вздыхали, как на проповеди деревенского попа, и поддакивали: «Это ты верно... что и говорить... правда ваша, господин лесницын... Мы что? Мы мужики, люди темные...»

Но уж давно известно, что самые прекрасные и по-

лезные истины, исходящие из уст господина лесницына, господина агронома и других интеллигентных радетелей, представляют для деревни лишь простое сотрясение воздуха.

На другой же день добрые поселяне пускали в лес скот, объедавший дочиста молодняк, драли лыко с нежных, неокрепших деревьев, валили для какого-нибудь забора или оконницы строевые ели, просверливали стволы берез для вытяжки весеннего сока на квас, курили в сухостойном лесу и бросали спички на серый высохший мох, вспыхивающий, как порох, оставляли непогашенными костры, а мальчишки-пастушонки, те бессмысленно поджигали у сосен дупла и трещины, переполненные смолой, поджигали только для того, чтобы посмотреть, каким веселым, бурливым пламенем горит янтарная смола.

Он упрасивал сельских учителей внедрять ученикам уважение и любовь к лесу, подбивал их вместе с деревенскими батюшками, – и, конечно, бесплодно, – устраивать праздники лесонасаждения, пристаивал к исправникам, земским начальникам и мировым судьям по поводу хищнических порубок, а на земских собраниях так надоел всем своими пылкими речами о защите лесов, что его перестали слушать. «Ну, понес философ свой обычный вздор», – говорили земцы и уходили курить, оставляя Турченку разглаголь-

ствовать, подобно проповеднику Беде, перед пустыми стульями. Но ничто не могло сломить энергии этого упрямого хохла, пришедшегося не по шерсти сонному городишке. Он, по собственному почину, укреплял кустарником речные берега, сажал хвойные деревья на песчаных пустырях и облеснял овраги. На эту тему мы и говорили с ним, свернувшись на обширном докторском диване.

– В оврагах у меня теперь столько нанесло снегу, что лошадь уйдет с дугой. А я радуюсь, как ребенок. В семь лет я поднял весеннюю высоту воды в нашей поганой Вороже на четыре с половиной фута. Ах, если бы мне да рабочие руки! Если бы мне дали большую неограниченную власть над здешними лесами. Через несколько лет я бы сделал Мологу судоходной до самых истоков и поднял бы повсюду в районе урожайность хлебов на пятьдесят процентов. Клянусь господом богом, в двадцать лет можно сделать Днепр и Волгу самыми полноводными реками в мире, – и это будет стоить копейки! Можно увлажнить лесными посадками и оросить арыками самые безводные губернии. Только сажайте лес. Берегите лес. Осушайте болота, но с толком...

– А что же ваше министерство смотрит? – спросил я лукаво.

– Наше министерство – это министерство непро-

тивления злу, – ответил Турченко с горечью. – Всем все равно. Когда я еду по железной дороге и вижу сотни поездов, нагруженных лесом, вижу на станциях необозримые штабели дров, – мне просто плакать хочется. И сделай я сейчас доступными для плотов наши лесные речонки – все эти Звани, Ижины, Холменки, Ворожи, – знаете ли, что будет? Через два года уезд станет голым местом. Помещики моментально сплавят весь лес в Петербург и за границу. Честное слово, у меня иногда руки опускаются и голова трещит. В моей власти самое живое, самое прекрасное, самое плодотворное дело, и я связан, я ничего не смею предпринять, я никем не понят, я смешон, я беспокойный человек. Надоело. Тяжело. Посмотрите, что их всех интересует: поесть, поспать, выпить, поиграть в винтишко. Ничего не любят: ни родины, ни службы, ни людей, – любят только своих сопливых ребяташек. Никого ничем не разбудишь, не заинтересуешь. Кругом пошлость. Знаешь наперед, кто что скажет при любом обстоятельстве. Все оскудели умами, чувствами, даже простыми человеческими словами...

Мы замолчали. Из гостиной с четырех столов доносились до нас возгласы играющих:

«Скажу, пожалуй, малю-у-усенькие трефишки».

«Подробности письмом, Евграф Платоныч».

«Пять без козырей?»»

«Подвинчиваете?»

«Наше дело-с».

«Рискнем... Малютка, шлем нося».

«Ваша игра. Мы в кусты».

«Да-а, куплено. Ни одного человеческого лица. Так будет, как купили».

«Игра высокого давления».

«Что? Стала она призадумывать себя?»

«Василь Львович, больше четверти часа думать не полагается. Захаживайте».

«Ваше превосходительство, карты поближе к орде-
нам. Я вашего валета бубен вижу».

«А вы не смотрите...»

«Не могу, с детства такая привычка, если кто веером карты держит».

«Не угодно ли вам сей финик раскусить?»

Турченко нагнулся ко мне, улыбаясь, и сказал:

– Сейчас кто-нибудь скажет: «Не ходи одна, ходи с маменькой», а другой заметит: «Верно, как в аптеке».

«Какие же вы мне черви показывали? Валет сам третей с фосками? Это поддержка, по-вашему?»

«Я думал...»

«Думал индейский петух, да и тот подход от задумчивости».

«А вы зачем своего туза засолили? Мариновать его думаете?»

«Не с чего, так с бубен!»

«А что вы думаете об этой прекрасной даме?»

«А мы ее козырем».

«Правильно, – одобрил густым баритоном соборный священник, – не ходи одна, ходи с провожатым».

«Позвольте, позвольте, да вы, кажется, давеча козыря не давали?»

«Оставьте, батенька... Ребенка пришлите, не обчитаем... У нас верно, как в палате мер и весов».

– Слушайте, Иван Иванович, – обратился я к лесничему, – не удрать ли нам? Знаете, по-английски, не прощаясь.

– Что вы, что вы, дорогой мой. Уйти без ужина, да еще не прощаясь. Худшего оскорбления для хозяина трудно придумать. Вовек вам не забудут. Прослывете невежей и зазнайкой.

Но толстый Петр Власович, еще больше разбухший и сизо побагровевший от жары, долгого сиденья и счастливой игры, уже встал от карт и говорил, обходя игроков:

– Господа, господа... Пирог стынет, и жена сердится. Господа, последняя партия.

Гости выходили из-за столов и, в веселом предвкушении выпивки и закуски, шумно толпились во всех дверях. Еще не утихали карточные разговоры: «Как же это вы, благодетель, меня не поняли? Я вам, ка-

жется, ясно, как палец, сказал по первой руке бубны. У вас дама, десятка – сам-четверт». – «Вы, моя прелесть, обязаны были меня поддержать. А лезете на без козырей! Вы думаете, я ваших тузов не знал?» – «Да позвольте же, мне не дали разговориться, вот они как взвинтили». – «А вы – рвите у них. На то и винт. Трусы в карты не играют»...

Наконец хозяйка произнесла:

– Господа, милости прошу закусить.

Все потянулись в столовую, со смешком, с шуточками, возбужденно потирая руки. Стали рассаживаться.

– Мужья и жены врозь, – командовал весельчак хозяин. – Они и дома друг другу надоели.

И при помощи жены он так перетасовал гостей, что парочки, склонные к флирту или соединенные давнишней, всему городу известной связью, очутились вместе. Эта милая предупредительность всегда принята на семейных вечерах, и потому нередко, нагнувшись за упавшей салфеткой, одинокий наблюдатель увидит под столом переплетенные ноги, а также руки, лежащие на чужих коленях.

Пили очень много – мужчины «простую», «слезу», «государственную», дамы – рябиновку; пили за закуской, за пирогом, зайцем и телятиной. С самого начала ужина закурили, а после пирога стало шумно и дымно, и в воздухе замелькали руки с ножами и вилками.

Говорили о закусках и разных удивительных блюдах с видом заслуженных гастрономов. Потом об охоте, о замечательных собаках, о легендарных лошадях, о протодьяконах, о певицах, о театре и, наконец, о Говорили о закусках и разных удивительных блюдах с видом заслуженных гастрономов. Потом об охоте, о замечательных собаках, о легендарных лошадях, о протодьяконах, о певицах, о театре и, наконец, о современной литературе.

Театр и литература – это неизбежные коньки всех русских обедов, ужинов, журфиксов и файфоклоков. Ведь каждый обыватель когда-нибудь да играл на любительском спектакле, а в золотые дни студенчества неистовствовал на галерке в столичном театре. Точно так же каждый в свое время писал в гимназии сочинение на тему «Сравнительный очерк воспитания по „Домострою“ и по „Евгению Онегину“», и кто же не писал в детстве стихов и не сотрудничал в ученических газетах? Какая дама не говорит с очаровательной улыбкой: «Представьте, я вчера ночью написала огромное письмо моей кухне – шестнадцать почтовых листов кругом и мелко-мелко, как бисер. И это, вообразите, в какой-нибудь час, без единой помарки! Замечательно интересное письмо. Я нарочно попрошу Надю прислать мне его и прочту вам. На меня как будто нашло вдохновение. Как-то странно горела го-

лова, дрожали руки, и перо точно само бегало по бумаге». И какая из провинциальных дам и девиц не доверяла вам для чтения вслух, вдвоем, своих классных дневников, поминутно вырывая у вас тетрадку и восклицая, что здесь нельзя читать?

Говорить, ходить по сцене и писать – всем кажется таким легким, пустячным делом, что эти два, самые доступные, по-видимому, своей простотой, но поэтому и самые труднейшие, сложные и мучительные из искусств – театр и художественная литература – находят повсеместно самых суровых и придирчивых судей, самых строптивых и пренебрежительных критиков, самых злобных и наглых хулителей.

Мы с Турченко сидели на конце стола и только слушали со скукой и раздражением этот беспорядочный, самоуверенный, крикливый разговор, поминутно сбивавшийся на клевету и сплетню, на подсматриваний в чужие спальни. Лицо у Турченко было усталое и точно побурело изжелта.

– Нездоровится? – спросил я тихо.

Он поморщился.

– Нет... так... уж очень надоело... Все одно и то же

долбят... дятлы.

Мировой судья, помещавшийся по правую руку от хозяйки, отличался очень длинными ногами и необыкновенно коротким туловищем. Поэтому, когда он сидел, то над столом, подобно музейным бюстам, возвышались только его голова и половина груди, а концы его пышной раздвоенной бороды нередко окунались в соус. Пережевывая кусок зайца в сметанном соусе, он говорил с вескими паузами, как человек, привыкший к общему вниманию, и убедительно подчеркивал слова движениями вилки, зажатой в кулак:

– Не понимаю теперешних писателей... Извините. Хочу понять и не могу... отказываюсь. Либо балаган, либо порнография... Какое-то издевательство над публикой... Ты, мол, заплати мне рубль-целковый своих кровных денег, а я за это тебе покажу срамную ерунду.

– Ужас, ужас, что пишут! – простонала, схватившись за виски, жена акцизного надзирателя, уездная Мессалина, не обходившая вниманием даже своих кучеров. – Я всегда мою руки с *одеколоном* после их книг. И подумать, что такая литература попадает в руки нашим детям!

– Совершенно верно! – воскликнул судья и утонул бакенбардами в красной капусте. – А главное, при чем здесь творчество? вдохновение? ну, этот, как его...

полет мысли? Так ведь и я напишу... так каждый из нас напишет... так мой письмоводитель настряпает, на что уж идиот совершеннейший. Возьми перетасуй всех ближних и дальних родственников, как колоду карт, и выбрасывай попарно. Брат влюбляется в сестру, внук соблазняет собственного дедушку... Или вдруг безумная любовь к ангорской кошке, или к дворникову сапогу... Ерунда и чепуха!

– А все это революция паршивая виновата, – сказал земский начальник, человек с необыкновенно узким лбом и длинным лицом, которого за наружность еще в полку прозвали кобылячьей головой. – Студенты учиться не хотят, рабочие бунтуют, повсеместно разврат. Брак не признают. «Любовь должна быть свободна». Вот вам и свободная любовь.

– А главное – жида! – прохрипел с трудом седусый, задыхающийся от астмы, помещик Дудукин.

– И масоны, – добавил твердо исправник, выслужившийся из городских, миролюбивый взяточник, игрок и хлебосол, собственноручно подававший губернатору калоши при его проезде.

– Масоны не знаю, а жида знаю, – сердито уперся Дудукин. – У них кагал. У них: один пролез – другого потащил. Непременно подписываются русскими фамилиями, и нарочно про Россию мерзости пишут, чтобы дескри... дескри... дескрити... ну, как его!.. словом,

чтобы замарать честь русского народа.

А судья продолжал долбить свое, разводя руками с зажатыми в них вилкой и ножом и опрокидывая бородой рюмку:

– Не понимаю и не понимаю. Выверты какие-то... Вдруг ни с того ни с сего «О, закрой свои бледные ноги». Это что же такое, я вас спрашиваю? Что сей сон значит? Ну, хорошо, и я возьму и напишу: «Ах, спрячь твой красный нос!» и точка. И все. Чем же хуже, я вас спрашиваю?

– Или еще: в небеса запустил ананасом, – поддержал кто-то.

– Да-с, именно ананасом, – рассердился судья. – А вот я на днях прочитал у самого ихнего модного: «Летает буревестник, черной молнии подобный». Как? Почему? Где же это, позвольте спросить, бывает черная молния? Кто из нас видел молнию черного цвета? Чушь!

Я заметил, что при последних словах Турченко быстро поднял голову. Я оглянулся на него. Его лицо осветилось странной улыбкой – иронической и вызывающей. Казалось, что он хочет что-то возразить. Но он промолчал, дрогнул сухими скулами и опустил глаза.

– А главное, о чем пишут? – вдруг заволновался, точно мгновенно вскипевшее молоко, молчаливый

страховой агент. – Там – символ символом, это их дело, но мне вовсе не интересно читать про пьяных босяков, про воришек, про... извините, барыни, про разных там проституток и прочее...

– Про повешенных тоже, – подсказал акцизный надзиратель, – и про анархистов, и еще про палачей.

– Верно, – одобрил судья. – Точно у них нет других тем. Писали же раньше... Пушкин писал, Толстой, Аксаков, Лермонтов. Красота! Какой язык! «Тиха украинская ночь, прозрачно небо, светят звезды...» Эх, черт, какой язык был, какой слог!..

– Удивительно! – сказал инспектор народных училищ, блестя умиленными глазками из-под золотых очков и потряхивая острой рыженькой бородкой. – Поразительно! А Гоголь! Божественный Гоголь! Помните у него...

И вдруг он загудел глухим, могильным, завывающим голосом и вслед за ним также затянул нараспев земский начальник:

– «Чу-уден Дне-епр при ти-ихой пого-о-де, когда вольно и пла-авно...» Ну, где найдешь еще такую красоту и музыку слов!..

Соборный священник сжал свою окладистую сивую бороду в кулак, прошел по ней до самого конца и сказал, упирая на «о».

– Из духовных были также почтенные писатели:

Левитов, Лесков, Помяловский. Особенно последний. Обличал, но с любовью... хо-хо-хо... вселенская смазь... на воздухах... Но о духовном пении так писал, что и до сей поры, читая, невольно прольешь слезу.

– Да, наша русская литература, – вздохнул инспектор, – пала! А раньше-то? А Тургенев? А? «Как хороши, как свежи были розы». Теперь так уж не напишут.

– Куда! – прохрипел дворянин Дудукин. – Прежде дворяне писали, а теперь пошел разночинец.

Робкий начальник почтовой конторы вдруг зашепелявил:

– Однако теперь они какие деньги-то гребут! Ай-ай-ай... страшно вымолвить... Мне племянник студент летом рассказывал. Рубль за строку, говорит. Как новая строка – рубль. Например: «В комнату вошел граф» – рубль. Или просто с новой строки «да» – и рубль. По полтиннику за букву. Или даже еще больше. Скажем, героя романа спрашивают: «Кто отец этого прелестного ребенка?» А он коротко отвечает с гордостью «Я»– И пожалуйста: рубль в кармане.

Вставка начальника почтовой конторы точно открыла шлюз вонючему болоту сплетни. Со всех сторон посыпались самые достоверные сведения о жизни и заработках писателей. Такой-то купил на Волге старинное княжеское имение в четыре тысячи десятин с усадьбою и дворцом. Другой женился на дочери неф-

тепромышленника и взял четыре миллиона приданого. Третий пишет всегда пьяным и выпивает за день четверть водки, а закусывает только пастилой. Четвертый отбил жену своего лучшего друга, а двое декадентов, те просто по взаимному уговору поменялись женами. Кучка модернистов составила тесный содомский кружок, известный всему Петербургу, а один знаменитый поэт странствует по Азии и Америке с целым гаремом, состоящим из женщин всех наций и цветов.

Теперь говорили все разом, и ничего нельзя было разобрать. Ужин подходил к концу. В недопитых рюмках и в тарелках с недоеденным лимонным желе торчали окурки. Гости наливались пивом и вином. Священник разлил на скатерть красное вино и старался засыпать лужу солью, чтобы не было пятна, а хозяйка уговаривала его с милой улыбкой, кривившей правую половину ее рта вверх, а левую вниз:

– Да оставьте, батюшка, зачем вам затруднять себя? Это отмоется.

Между дамами, подпившими рябиновки и наливки, уже несколько раз промелькнули неизбежные шпильки и намеки. Исправничиха похвалила жену страхового агента за то, что она с большим вкусом освежила свое прошлогоднее платье – «совсем и узнать нельзя». Страховиха ответила с нежной улыбкой, что она, к сожалению, не может по два раза в год выписывать

себе новые платья из Новгорода, что они с мужем – люди хотя бедные, но честные, и что им неоткудова брать взятки. «Ах, взятки – это ужасная пошлость! – охотно согласилась исправничиха. – И вообще на свете много гадости, а вот еще бывает, что некоторых замужних дам поддерживают чужие мужчины». Это замечание перебила уже акцизная надзирательница и заговорила что-то о губернаторских калошах. В воздухе назревала буря, и уже висел над головами обычный трагический возглас: «Моей ноги не будет больше в этом доме!» – но находчивая хозяйка быстро предупредила катастрофу, встав из-за стола со словами:

– Прошу извинить, господа. Больше ничего нету.

Поднялась суматоха. Дамы с пылкой стремительностью целовали хозяйку, мужчины жирными губами лобызали у нее руку и тискали руку доктора. Большая часть гостей вышла в гостиную к картам, но несколько человек осталось в столовой допивать коньяк и пиво. Через несколько минут они запели фальшиво и в унисон «Не осенний мелкий дождичек», и каждый обеими руками управлял хором. Этим промежутком мы с лесничим воспользовались и ушли, как нас ни задерживал добрейший Петр Власович.

Ветер к ночи совсем утих, и чистое, безлунное, синее небо играло серебряными ресницами ярких звезд. Было призрачно светло от того голубоватого

фосфорического сияния, которое всегда излучает из себя свежий, только что улегшийся снег.

Лесничий шел со мной рядом и что-то бормотал про себя. Я давно уже знал за ним эту его привычку разговаривать с самим собою, свойственную многим людям, живущим в безмолвии, – рыбакам, лесничим, ночным караульщикам, а также тем, которые перенесли долголетнее одиночное заключение, – и я перестал обращать на эту привычку внимание.

– Да, да, да... – бросал он отрывисто из воротника шубы. – Глупо... Да... Гм... Глупо, глупо... И грубо... Гм...

На мосту через Ворожу горел фонарь. С всегдашним странным чувством немного волнующей, приятной бережности ступал я на ровный, прекрасный, ничем не запятнанный снег, мягко, упруго и скрипуче подававшийся под ногою. Вдруг Турченко остановился около фонаря и обернулся ко мне.

– Глупо! – сказал он громко и решительно. – Поверьте мне, милый мой, – продолжал он, слегка прикасаясь к моему рукаву, – поверьте, не режим правительства, не скудость земли, не наша бедность и темнота виноваты в том, что мы, русские, плетемся в хвосте всего мира. А все это сонная, ленивая, ко всему равнодушная, ничего не любящая, ничего не знающая провинция, все равно – служащая, дворян-

ская, купеческая или мещанская. Посмотрите на них, на сегодняшних. Сколько апломба, сколько презрения ко всему, что вне их куриного кругозора! Так, проходя, и развешивают ярлыки: «Ерунда, чепуха, вздор, дурак...» Попугаи! И главное, – он, видите ли, этого и этого не понимает, и, стало быть, это уже плохо и смешно. Так ведь он дифференциального исчисления не понимает – значит, и оно чепуха? И Пушкина не понимали. И Чехова недавно не понимали. Говорили о его «Степи»: что за чушь – овечьи мысли! Да разве овцы думают? «Цветы улыбались мне в тишине, спросонок...» Ерунда! Разве цветы когда-нибудь смеются! И нынче ведь тоже. «Я, говорит, сам так напишу...»

– А насчет черной молнии? – спросил я.

– Да, да... «Где же это бывает черная молния?»

Премилый человек этот судья, но что он видел в своей жизни? Он – школьный и кабинетный продукт... А я вам скажу, что я сам, собственными глазами, видел черную молнию и даже раз десять подряд. Это было страшно.

– Вот как, – молвил я недоверчиво.

– Именно так. Я с детства в лесу, на реке, в поле. Я видел и слышал поразительные вещи, о которых не люблю рассказывать, потому что все равно не поверят. Я, например, наблюдал не только любовные хороводы журавлей, где все они пляшут и поют огром-

ным кругом, а парочка танцует посредине, – я видел их суд над слабым перед осенним отлетом. Я мальчишкой-реалистом, живучи в Полесье, видел град с большой мужской кулак величиною, гладкими ледышками, но не круглой формы, а в виде как бы шляпки молодого белого гриба, и плоская сторонка слоистая. В пять минут этот град разбил все окна в большом помещицьем доме, оголил все тополи и липы в саду, а в поле убил насмерть множество мелкого скота и двух подпадков. Глубокой зимою, в день ужасного мессинского землетрясения, утром, я был с гончими у себя на Бильдине. И вот часов в десять – одиннадцать на совершенно безоблачном небе вдруг расцвела радуга. Она обоими концами касалась горизонта, была необыкновенно ярка и имела в ширину градусов сорок пять, а в высоту двадцать – двадцать пять. Под ней, такой же яркой, изгибалась другая радуга, но несколько слабее цветом, а дальше третья, четвертая, пятая, и все бледнее и бледнее – какой-то сказочный семицветный коридор. Это продолжалось минут пятнадцать. Потом радуги растаяли, набежали мгновенно, бог знает, откуда тучи и повалил сплошной снежище.

Я видел лесные пожары. Я видел, как ураган валит пятисаженный сухостой. Да, я был тогда в лесу с объездчиком, лесниками и рабочими, и на моих гла-

зах сотни громадных деревьев валялись, как спички. Тогда объездчик Нелидкин стал на колени и снял шапку. И все сделали то же самое. И я. Он читал «Отче наш», и мы крестились, но мы не слышали его голоса из-за треска падающих деревьев и ломающихся сучьев. Вот, что я видел в своей жизни. Но также я видел и черную молнию, и это было ужаснее всего. Пойдите, – перебил Турченко себя, – мы у моего дома. Зайдем ко мне. Михеевна будет ругаться, но ничего. Я вас за это угощу третьегоднешним квасом. Сегодня, благословясь, почнем.

Михеевна, старая суровая служанка лесничего, и его чудный яблочный квас были известны всему городу. Старуха приняла нас строго и долго ворчала, бродя со свечой по комнатам и лазая по шкафам: «Непутевые, полуночники, мало им дня, по ночам бродят, добрым людям спать не дают». Но квас был выше всех похвал. Он бродил долго сначала в дубовой бочке на хмеле и на дрожжах, с изюмом, коньяком и каким-то ликером, потом отстаивался три года в бутылках и теперь был крепок, играл, как шампанское, и весело и холодно сушил во рту, немного пьянил и в то же время освежал.

– Вот как это было, – говорил Турченко, расхаживая в заячьей курточке по своему кабинету, увешанному картинами с изображением тигров. – Я студен-

том приехал на каникулы в самую глушь Тверской губернии к своему двоюродному брату Николаю – к Коке, – так мы его называли. Он был когда-то блестящим молодым человеком, с лицейским образованием, с большими связями и великолепной карьерой впереди, и прекрасно танцевал на настоящих светских балах, обожал актрис из французской оперетки и новодеревенских цыганок, пил шампанское, по его словам, как крокодил, и был душой общества. Но в один миг, буквально вмиг, все Кокино благополучие рухнуло. Однажды утром он проснулся и с ужасом убедился в том, что всю правую сторону его тела разбил паралич. Из самолюбия и из гордости он обрек себя на добровольное изгнание и поселился в деревне.

Но он вовсе не утратил ясности и бодрости духа и с легкой иронией называл себя велосипедистом, потому что принужден был передвигаться, сидя в трехколесном кресле, которое сзади катил его слуга Яков. Он много ел и пил, много спал, писал на пишущей машинке пресмешные нецензурные письма в стихах и часто менял деревенских любовниц, которым давал громкие имена королевских фавориток, вроде Ла-Вальер, Монтеспан и Помпадур.

Однажды, заряжая или разряжая браунинг, с которым Кока никогда не расставался, он прострелил своему Якову ногу. По счастью, пуля попала очень удач-

но, пройдя сквозь мякоть ляжки и пробив, кроме того, две двери навывлет. Это событие почему-то тесно сдружило барина и слугу. Они положительно не могли жить друг без друга, хотя и ссорились нередко: Кока, рассердясь, тыкал метко Якову в живот костылем, а Яков тогда сбегал на несколько часов из дому и не являлся на зов, оставляя Коку в беспомощном состоянии.

Яков был в душе прекрасный охотник: неутомимый, несмотря на свою хромоту, с хорошей памятью местности, с большим знанием тех неуловимых причин, по которым угадываешь качество и количество дичи. Мы с ним часто ходили на простую мужицкую, очень трудную охоту, то есть без собаки, а с подкраду, требующую большого внимания и терпения. Надо сказать, что Кока неохотно отпускал со мною Якова, – без него он был, как без своих единственных руки и ноги. Поэтому, чтобы выпросить Якова, приходилось прибегать к хитростям. Ничто так не располагало Коку, великодушную, как расспросы о его прежней веселой жизни, когда он считался львом гостиных и милым завсегдаем шикарных ресторанов.

И так однажды, заведя эту Кокину шарманку и нальтив ему без всякой меры, я умудрился похитить Якова на целую неделю. Пошли мы с ним в дальнюю деревушку Бурцево, где у Коки были лесные участки и

славные болотца. Бурцевский мужик Иван, он же и Кокин лесник, говорил, что на Высоком, в Раменье и на Блинове развелось столько глухарей, тетерок, рябчиков, бекасов, дупелей и уток, что просто видимо-невидимо. «Хоть палкой бей, хоть шапкой накрывай».

Мы долго собирались, поздно вышли и пришли в Бурцево к вечерней заре. Ивана не было, он, оказывается, ушел к свояку в Окунево, где праздновали престол. Приняла нас его жена Авдотья, худая пучеглазая баба, похожая лицом на рыбу, и такая веснушчатая, что белая кожа только лишь кое-где редкими проблесками проступала на ее щеках сквозь коричневую маску.

В избе было душно, жужжало множество мух и пахло чем-то противно кислым. В зыбке верещал без умолка ребенок. Авдотья захлопотала.

– Мой-то еще, не знаю, – вернется, не вернется ли. Больно ладное пиво варят в Окуневе. А где пиво – там и Иван. Да вы погодите, кормильцы, я вас своим пивом напою. На спаса варила... Не горздо густо пиво-то, доливали мы его, а вкусное было да сладкое.

Она подняла за кольцо тяжелую крышку подвала, спустилась туда и через минуту вылезла с большим ковшом домашнего пива. Пока она разливала нам его, я спросил, указав на кричавшего младенца:

– Сколько месяцев ребенку-то?

– Ме-ся-цев? – удивилась баба. – Что ты, кормилец, господь с тобой. Только вчера вечером рóдила. Какой там месяцев? Вчера ровно в это время рóдила. Кушайте, кормильцы, не знаю, как звать-то вас... Вчера только рóдила. Вот как.

Я невольно сказал:

– Вот так фунт.

Но Яков заметил равнодушно и презрительно:

– Это им нипочем. Они привычны. Им – как чихнуть.

Иван все не приходил, должно быть загулял. Пиво было теплое, и в нем плавали мухи. На стены, ради невиданных гостей, сползались из всех углов тараканы. Мы поглядели, посидели и пошли спать в сарай на сено. Не люблю я спать на болотном сене. Сучки какие-то и толстые стебли прут в спину, голова затекает, в носу крутит от мелкой сенной пыли, нельзя курить. Долго я не мог заснуть и все прислушивался к ночным звукам: коровы и лошади где-то сильно и тяжело вздыхали, переступали ногами, ворочались и время от времени тяжело и густо шлепали, перепела кричали в далеких росистых овсах, скрипел своим деревянным скрипом неутомимый дергач.

Заснул я перед зарей, а встали мы очень поздно, в девять часов. Было уже жарко. День обещал быть знойным. Небо простиралось бледное, томное, изнемогающее, похожее цветом на голубой выцветший и

вылинявший шелк.

Ивана все еще не было. Мы пошли одни. Сельцо – вернее, выселки – Бурцево состояло всего из трех дворов и расположилось на вершине большого холма, по отлогостям которого спускались пашни и поля. А подножие холма упиралось в болото, растянувшееся бог знает на сколько сот, может быть даже тысяч, десятин. Верстах в трех вдали виднелся волнистый синий хребет – сосновый лес на островке Высоком, куда вела узкая извилистая непроезжая тропинка. Вся же остальная окрестность была сплошь покрыта мелким кустарником, среди которого там и сям блестели на солнце, точно капли разбросанной ртути, изгибы местных болотистых речонок: Тристенки, Холменки и Звани.

Тяжелый нам выдался день. Парило невыносимо, и через час мы были так мокры от пота, что хоть выжимай. Надоедливая микроскопическая мошкара вилась кучами над головой, залезала в глаза, в нос, в уши и доводила до бессильного бешенства, когда с яростью хлопаешь себя по щекам, размазывая насекомых по лицу, как кашу.

Много раз мы с Яковом теряли друг друга в густом, местами непроходимом кустарнике. Один раз сучок задел за собачку моего ружья, и оно нежданно выстрелило. От мгновенного испуга и от громкого вы-

стрела у меня тотчас же разболелась голова и так и не переставала болеть целый день, до вечера. Сапоги промокли, в них хлюпала вода, и отяжелевшие, усталые ноги каждую секунду спотыкались о кочки. Кровь тяжело билась под черепом, который мне казался огромным, точно разбухшим, и я чувствовал больно каждый удар сердца.

Приходилось то и дело переходить речонки вброд или по лавам, которые представляют из себя не что иное, как два или три тонких деревца, связанных лыком или прутьями, переброшенных поперек реки и укрепленных несколькими парами шатких кольев, вкопанных в дно. Но всего неприятнее были переходы по открытым местам, совсем голубым от бесчисленных незабудок, от которых так остро, травянисто и приторно пахло. Здесь почва ходила и зыбилась под ногами, а из-под ног, хлюпая, била фонтанчиками черная вонючая вода.

Мы заблудились и лишь далеко за полдень добрались до Высокого. Небо теперь было все в тяжелых, неподвижных, пухлых облаках. Мы поели холодного мяса с хлебом, напились воды, пахнувшей ржавчиной и болотным газом, потом развели из можжевельника ароматный костер от комаров и – сам уж не знаю, как это случилось, – заснули внезапным тяжелым сном.

Я первый проснулся. Все вокруг страшно, грозно и

жутко потемнело, а зелень болотного кустарника качалась и отливала серой сталью. Все небо обложили громоздкие лиловые и фиолетовые тучи с разорванными серыми краями. Начиная вдали глухо ворчать гром. Я заторопился.

– Ну, Яков, домой. Дай бог добраться. Ходу!

Но, сойдя с острова, возвышавшегося среди болота, мы тотчас же заблудились и стали без толку бродить зигзагами по кустарнику, отступая в сторону от рек, обходя трясины и густые чащобы, теряя друг друга, спеша, путаясь и сердясь.

Стало уже совсем темно, и гром рокотал еще далеко, но уже не затихая ни на мгновение, когда Яков, шедший впереди и казавшийся мне издали темным, длинным, неясным, шатающимся столбом, друг крикнул:

– Есть дорога!

Да, это была узкая, болотная дорога, кое-где укрепленная поперек хворостом, со следами лошадиного помета. И к нашей радости, мы тотчас услышали невдалеке стук телеги. Быстро-быстро, совсем заметно для глаза, надвигалась тьма. Только на западе, низко над землей, рдела узкая длинная кровавая полоса, отороченная сверху тесьмой из расплавленного золота.

Подъехала телега. В ней сидело двое: баба пра-

вила, дергая локтями и вытянув прямо перед собою ноги, как умеют сидеть только деревенские женщины, а старик, немного хмельной, дремал позади. Он проснулся, когда испугавшаяся нас лошадь стала храпеть, артачиться и боком лезть в болото. Мы стали расспрашивать старика про дорогу на Бурцево. Но он тянул и мямлил:

– На Бурцево вам, милые? А вы сами-то чьи будете?

– Ничьи. Из Демцына. От Николая Всеволодыча.

– Знаем, знаем. Только вы, милые, не туда идете. Вам надо податься сейчас во-он куда, прямо на восход. Прямо по стрелябии. Вы что же, рендатели будете в Демцыне?

– Нет, я проезжий, родич демцынского барина.

– А, так, так, так... Сродственник, значит? До Бурцева вам звона прямо куда. Так прямо по стрелябии и вдаряйте. С охотой, значит, ходили?..

Но мы не успели ответить. Из кустов послышалось пугливое коканье, хлопанье мощных крыльев, и шагах в десяти от нас с шумом поднялся большой тетеревиный выводок, чернея на алой полосе зари. Мы с Яковом почти одновременно выстрелили, не целясь, раз за разом из обоих стволов и, конечно, промахнулись. А телега уже мчалась от нас, прыгая и кося боками на ухабах. Напрасно мы бежали за ней, крича ста-

рику остановиться. Он без шапки, стоя нахлестывал кнутом лошаденку, длинный, тощий, несуразный, и, со страхом оборачиваясь назад, кричал что-то злым шамкающим голосом.

Опять мы остались одни. Я предложил было не оставлять дороги, но Яков убедил меня в том, что до, Бурцева два шага, а что стариковская дорога ведет в Ченцово, до которого еще добрых пятнадцать верст, – и я согласился с ним. И опять мы полезли в черное, сырое болото. Сходя с дороги, я обернулся назад. Красной полосы уже не было на небе, точно ее задержали занавесом; и мне вдруг сделалось грустно и тоскливо. Не стало больше видно ничего: ни туч, ни кустарника, ни Якова, шедшего со мною рядом, – была одна мокрая, густая тьма. Сверкнула первая молния – наверху загрохотало и оборвалось сухим треском, за ней другая, третья. Потом пошло и пошло без перерыва.

Это была одна из тех ужасных гроз, которые раздражаются иногда над большими низменностями. Небо не вспыхивало от молний, а точно все сияло их трепетным голубым, синим и ярко-белым блеском. И гром не смолкал ни на мгновение. Казалось, что там наверху идет какая-то бесовская игра в кегли высотой до неба. С глухим рокотом катились там невероятной величины шары, все ближе, все громче, и вдруг – тр-

рах-та-та-трах – падали разом исполинские кегли.

И вот я увидел черную молнию. Я видел, как от молнии колыхало на востоке небо, не потухая, а все время то развертываясь, то сжимаясь, и вдруг на этом колеблющемся огнями голубом небе я с необычайной ясностью увидел мгновенную и ослепительно черную молнию. И тотчас же вместе с ней страшный удар грома точно разорвал пополам небо и землю и бросил меня вниз, на кочки. Очнувшись, я услышал сзади себя дрожащий, слабый голос Якова.

– Барин, что же это, господи... Погибнем, царица небесная... Молния... черная... господи, господи...

Я приказал ему сурово, собрав всю последнюю силу воли:

– Вставай. Идем. Не ночевать же здесь.

О, что это была за ужасная ночь! Эти черные молнии наводили на меня необъяснимый животный страх. Я до сих пор не могу понять причины этого явления: была ли здесь ошибка нашего зрения, напряженного беспрестанной игрой молнии по всему небу, имело ли особое значение случайное расположение туч, или Я до сих пор не могу понять причины этого явления: была ли здесь ошибка нашего зрения, напряженного беспрестанной игрой молнии по всему небу, имело ли особое значение случайное расположение туч, или свойства этой проклятой болотной котлови-

ны? Но иногда я чувствовал, что теряю с каждой секундой разум и самообладание. Мне, помню, все хотелось закричать диким, пронзительным голосом, по-заячьи. И я все шел вперед, лепеча богу, точно перепуганный ребенок, несвязные, нелепые молитвы: «Миленький бог, добрый, хороший бог, спаси меня, прости меня. Я никогда не буду». И тут же, зацепившись за кочку, летел локтем в жидкую грязь и остервенело ругался самыми скверными словами.

Вдруг я услышал невдалеке голос Якова, страшный, захлебывающийся голос, от которого я задрожал:

– Барин, утопаю... Спасите, Христа ради... Тону... А-а-а!..

Я кинулся к нему на слух и при непереносимом ослепительном свете черной молнии увидел не его, а лишь его голову и туловище, торчащие из трясины. Никогда не забуду этих выпученных, омертвелых от безумного ужаса глаз. Я никогда бы не поверил, что у человека глаза могут стать такими белыми, огромными и чудовищно страшными.

Я протянул ему ствол ружья, держась сам одной рукой за приклад, а другой за несколько зажатых вместе ветвей ближнего куста. Мне было не под силу вытянуть его. «Ложись! Ползи!» – закричал я с отчаянием. И он тоже ответил мне высоким звериным визгом, ко-

торый я с ужасом буду вспоминать до самой смерти. Он не мог выбраться. Я слышал, как он шлепал руками по грязи, при блеске молний я видел его голову все ниже и ниже у своих ног и эти глаза... глаза... Я не мог оторваться от них...

Под конец он уже перестал кричать и только дышал часто-часто. И когда опять разверзла небо черная молния, ничего не было видно на поверхности болота. Как я шел по колеблющимся, булькающим, вонючим трясинам, как залезал по пояс в речонки, как, наконец, добрел до стога и как меня под утро нашел слышавший мои выстрелы бурцевский Иван, не стоит а говорить...

Турченко несколько минут молчал, низко склонившись над своим стаканом и ероша волосы. Потом вдруг быстро поднял голову и выпрямился. Его широко раскрытые глаза были гневны.

– То, что я сейчас рассказал, – крикнул он, – было не случайным анекдотом по поводу дурацкого слова обывателя. Вы сами видели сегодня болото, вонючую человеческую трясину! Но черная молния! Черная молния! Где же она? Ах! Когда же она засверкает?

Он медленно закрыл глаза, а через минуту уставшим голосом сказал ласково:

– Извините, дорогой мой, за многословие. Ну, давайте выпьем бутылочку моего сидра.